

Александр Вегнер

ТРУДАРМИЯ

(повесть)



16+

Александр Вегнер

Трудармия

«ЛитРес: Самиздат»

2019

Вегнер А. А.

Трудармия / А. А. Вегнер — «ЛитРес: Самиздат», 2019

Действие повести происходит с октября 1942 по ноябрь 1946 года. После ликвидации АССР Немцев Поволжья большинство мужчин и женщин трудоспособного возраста мобилизовано в трудармию. Персонажи моей повести – трудармейцы, от совсем юных девушек до пожилых женщин, строят нефтепровод в Жигулях, добывают известняк и наконец оказываются в деревне Камчатка близ Рыбинского моря на лесоповале. Об их горестях, борьбе за выживание, взаимоотношениях с местными жителями рассказывает моя повесть. Их трагедия - часть общей трагедии советского народа, вызванной нападением на СССР фашистской Германии.

Содержание

Повестка	5
Тюрьма	13
Жигули	19
Ольга Ивановна	26
Валенки	28
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Повестка

Ревел ветер, метя по двору пыль. С шипом и свистом билась она в дверь землянки.

– У-у-ю-ю-у, – выло в трубе.

В щель под дверью и в крохотное оконце уже начал пробиваться белёсый свет. Зябко. Мария встала, поёживаясь. Зубы застучали друг о дружку. А что будет зимой, когда морозы за сорок ударят!

– Мария! С днём рождения! – сказали шёпотом мать с отцом, оглядываясь на ещё спящую восьмидесятилетнюю бабушку. Желаем тебе, чтобы всё-всё сбылось, что ты хочешь.

– Чтобы война закончилась, и Андрей вернулся – ответила Мария.

– И чтобы мы домой вернулись, – мать подошла и обняла. Отец расчувствовался, глаза увлажнились, он взял её руку и долго тряс.

Сегодня Марии девятнадцать лет. Она тоненькая невысокая черноволосая девушка с большими тёмно-карими глазами. Быстро натянув на себя фуфайку, вышла из землянки, вверх по земляным ступеням в мир божий. Там низкое октябрьское небо. Ветер рвёт то с запада, то с севера. Такой холод, что может пойти и дождь, и снег. За землянкой их поленица. Набрал с десяток поленьев на руку, понесла в землянку растапливать печь. Мать с отцом тоже вышли. Пошли в пригон Евдокии Рощупкиной – бывшей их хозяйки, у которой провели зиму сорок первого – сорок второго года. Там их корова. Её надо подоить и отогнать в стадо. Землянку они построили прошедшей весной из пластов дёрна, а пригон из них не построишь. Спасибо Евдокии, сама предложила оставить корову в её пригоне. Две коровы – курам теплее. Бабушка тоже поднялась на кровати. Ей целый день сидеть одной, ну, может Катрине-вейс¹ Бахман из соседней землянки заглянет.

Мария пойдёт на ток молотить зерно, а мать с отцом в кошару управлять овец, которых ещё три дня назад выгоняли на пастбище, хотя те овцы там не то что траву, но и корни давно выгрызли из земли.

Печь загудела, Мария поставила чайник.

Как хорошо, что они построили землянку. Всё-таки сами себе хозяева и можно делать что хочешь! В начале осени отец раздобыл немного керосина и зажёл керосиновую лампу, привезённую с Волги. Вышел из землянки во двор, посмотрел и вернулся очень довольный: «Как в Саратове!»

Сейчас лампу не зажигают – экономят керосин для особых случаев. Вечером темнеет рано, если надо, зажигают лучинки, а чаще всего ложатся пораньше спать.

От плиты пошло тепло. Мария вышла чтобы принести новую охапку дров. Глядь, а через двор отец идёт, на плече верёвка, другой конец накинут на рога корове, словно бурлак баржу тащит по Волге. Ну не баржу, а лодку (какая из их коровы баржа?). Следом мать прутиком корову подгоняет.

– Что случилось? Тётя Дуся выгнала? – испугалась Мария и побежала навстречу.

– Да нет. У неё Стюрка Шашкова сидит. Так кричит, бедная. До этого знала только, что муж пропал без вести. А вчера от его друга письмо пришло. Пишет, что убили – сам видел. Так убивается... Меня увидела – так страшно закричала. Только я понять не могла.

– На вас что ли?

– Наверно. Дуся говорит: «Берите свою корову, у себя подоите».

Мать концом платка смахнула слезу. Отец смотрит к чему бы корову привязать. А кроме трубы нигде ничего не торчит. Передал ей верёвку – заметила, что у него руки дрожат. Про-

¹ вейс – у немцев Поволжья почтительное обращение к пожилым женщинам

клятые немцы! Отец вернулся из землянки с топором, быстро заострил полено и вбил в землю. Привязал корову. А ветер беснуется!

Мать села доить. Она набрала, наконец, дров, напихала полную печь, прикрыла поддувало – теперь до обеда будет тепло бабушке.

Мать принесла в подойнике литра три молока. Срезала корова молоко! Коровам тоже голодно: трава после заморозков высохла, загрубела, порыжела. Но пастух стадо пока выгоняет – председатель сказал: будет пасти до снега. А что делать! Сена в колхозе дали совсем мало, как хочешь тяни до весны. Соломы может ещё дадут... А может и не дадут.

Мать смотрит отрешённо. Говорит сама себе:

– Как теперь Стюрке?... У неё четверо детей.

Мать говорит по-немецки. Стюрка у неё получается смешно. Мария и не хотела, а улыбнулась. Она и сама долго считала, что так дразнят женщину, а оказалось, местные уменьшают так имя Анастасия. Мать вдруг заплакала:

– И от нашего Андрея больше года ни слуху, ни духу...

– Он просто не знает где мы. Он живой, я чувствую. Только не знает, куда написать.

– Вода у тебя кипит. Свари яичко, может бабушка поест.

Яйцо вчера дала тётя Дуся – специально для бабушки. Бабушка еле живая. Хочет есть, а не может. От одного вида еды ей плохо:

– Не могу, не идёт...

Взгляд у неё стал необычный. Не наружу, а внутрь себя смотрит и прислушивается к чему-то, что в ней происходит.

– Мама, – говорит мать, – мы вам яйцо сварили, может покушаете.

– Яйцо? – переспрашивает бабушка, – ... нет, сейчас не хочу, может потом. Я ещё полежу немножко. Холодно мне... – Она снова ложится.

Пришёл отец. Он отогнал корову. Быстро позавтракали вчерашней картошкой и пошли на работу. Сумрачно. Холодно. За оградой на току длинное гумно – деревянный сарай. Там стоит молотилка. Ворота уже открыты. Мальчишки едут с возом снопов. Один – Федька Гофман из их села – из Павловки, из Паульского по-немецки. А другой – местный, Петька Денисов. Федька и Петька за год подружились, не разлей вода. Да и как не подружиться: на одной лошади работают, одинаково голодают.

Матери Федьки и Марии на Волге работали поварами в одной бригаде. Но Мария *по дому* Федьку не помнит – далеко друг от друга жили, да и в возрасте разница большая.

По дому... Теперь для немцев дом – это всё что связано с Волгой. И когда спрашивают: «Когда же домой», ясно, что не про свой рубленный дом с летней кухней, сараем, дворовым погребом и амбаром спрашивают, а о селе своём родном с речкой Караманом за огородами, с Волгой в трёх верстах от села, о весенней степи, цветущей тюльпанами во все стороны до самого горизонта, и о другой степи – выжженной июльским пеклом, стогами сена, пыльным запахом чабреца, свистом сусликов, кружащими в белёсо-голубом небе степными орлами, о бахче за селом с полосатыми арбузами и мучнистыми дынями на сухой горячей земле. Дома – это там, где осталась душа. И попробуй кто сказать, что после войны они туда не вернуться! Надо только потерпеть... Тем и живы.

Комбайнёр из МТС запустил свою молотилку.

Завтоком Платон Алексеевич поставил двух женщин из первой бригады подавать необмолоченную массу на приёмный транспортёр, а её одну, с огромными вилами, отбрасывать выползающую из молотилки солому.

Одна из подающих снопы – Катька Костюченко – сильно обидела Марию в прошлом году. В начале зимы тётя Дуся Рошупкина, у которой они тогда жили на квартире, уехала на два дня по своим родственным делам, а когда вернулась, Катька рассказала ей, что только она за дверь, её немцы завесили окна одеялами, вытащили граммофон и давай веселиться и танцевать от

радости, что немцы-фашисты наступают на Москву. И это враньё Катька растрепала по всему селу.

Тётя Дуся не поверила:

– Бреешь ты, Катька! Как всегда, бреешь! У меня дети дома оставались – не веселились они и не танцевали, да и граммофона у них никакого нет.

– Ага, так они тебе его и показали!

– И где им танцевать? Когда их ко мне поселили, зашла к ним, а бабушка старенькая сидит и плачет. «Что, – спрашиваю, – бабушка плачете?» А она отвечает: «Комната маненька. Вещи лежит, а мы сидит!» И правда – вещи на полу, а места только и осталось, чтобы на них сидеть. Не трепи языком, Катька, не наговаривай на людей. Им и без тебя тошно.

– А что ты их защищаешь? Немцы моего папку убили...

– То немцы. А Мария твоего папку не убивала.

Тётя Дуся не поверила, а многие и поверили. И когда в тот день, когда по радио объявили о разгроме немецко-фашистских войск под Москвой, и народ собрался вечером в клубе на собрание и включили на всю мощь репродуктор из которого зазвучал торжественный голос Левитана: «...И перешли в решительное контрнаступление против его ударных фланговых группировок. В результате обе эти группировки разбиты и спешно отступают, бросая технику, вооружение, неся огромные потери!», к ним подбежал мальчишка, плачущий от счастья и закричал им в лицо: «Что взяли Москву? Взяли? Вот вам Москва! Вот! Вот!» Ах, как тогда было горько и обидно!

Сквозняк тянул через длинный сарай, а ей было жарко. Обмолоченная солома пёрла на неё из жерла молотилки, она сражалась с ней как могла, хватала вилами вороха, откидывала в сторону, но на их месте возникали новые, гораздо бóльшие, лезли под ноги, наваливались на неё. В шаль и в волосы впиалась солома, одежда покрылась пылью. А Катька с подругой старались во всю. Мимо шёл Платон Алексеевич, в коричневом картузе, в фуфайке цвета осенней стерни. В картуз, в седые до белизны волосы тоже вцепилась солома.

– Платон, – позвал его комбайнёр, – людей не умеешь расставлять. Подают двое, а солому отбрасывает одна девчонка. Видишь, не успевает, замаялась уже. Поставь второго человека.

– А где я тебе его найду, второго человека? Нет у меня людей!

Платон Алексеевич хороший человек. Всю жизнь был конюхом, в лошадях хорошо понимает, а заведующим током стал, когда мужики на фронт ушли. Вот и остался начальствовать над бабами.

– Сам тогда становись, – не унимался комбайнёр.

– Без советчиков знаю, куда мне становиться, – пробурчал Платон Алексеевич в белые усы, сильно пожелтевшие по краям от курения трубки. – Ну-ка, дочка, дай вилы.

Платону Алексеевичу хоть и под шестьдесят, но силы ещё есть. Навильники у него побольше, не детские, как у Марии – а какие следует навильники. Но и он еле успевает. Убедился, что одного человека мало. Но не может же он солому целый день кидать. Он начальник, должен руководить. К счастью опять Федька Гофман с Петькой Денисовым приехали – ещё телегу пшеницы на обмолот привезли.

– Становись, Федька, с землячкой на солому, – сказал Платон Алексеевич, а Петьке я внука своего дам в напарники.

Мария знает, что Генке – старшему внуку Платона Алексеевича – едва двенадцать исполнилось, в колхозе он не числится, но кто сейчас на это смотрит, когда хлеб надо стране дать, воюющей армии, чтобы не голодала и побыстрее справилась с проклятыми фашистами.

Петька поехал за Генкой, а Федька остался с Марией. Вдвоём легче стало с соломой воевать.

Федька с матерью не так давно в их колхозе. Им посолонее пришлось, чем Марии с родителями. Со станции привезли их в колхоз «Прогресс». Это такая глушь, что и описать невоз-

можно. И председатель в нём был злой пьяница. Изю всех сил старался не попасть на фронт. А не попасть на фронт, по его понятиям, было возможно только через лютость к своим колхозникам: чтобы боялись его и работали с утра до ночи. Вот и с Федыкиной семьёй он сразу взял самую крайнюю степень лютости. Была у Федыкиного отца справка, что он сдал на Волге столько-то пудов пшеницы, которые ему выдали на трудодни. Председатель, конечно, никакого хлеба им не дал, так же, как и другие председатели. Какой может быть хлеб немцам-переселенцам, когда самим не хватает. Но корову взамен оставленной на Волге он обязан был дать. Долго он злобствовал, но дал – самую тощую, самую никчёмную, какая сыскалась на колхозной ферме. Правда отец с матерью вылечили и выходили её. В конце концов, она даже отелилась и стала давать молоко. А в феврале сорок второго года Федыкиного отца забрали в трудармию. Тяжко расставался он с семьёй. На кого оставлял жену и семерых детей?

Перед уходом сказал:

– Пропадёте вы тут. Как только будет возможность – бегите в Кочки, там люди получше живут, может и вы выживете, а этот дурак вас точно... – и он заплакал. Отца увезли в Кочки, а оттуда неизвестно куда. Сначала писал он часто: попал на Енисей, на рыбную ловлю, но с весны почтовый ручей оборвался и с тех пор от него ни слуху, ни духу. Впрочем, Федыкина семья тешит себя надеждой, что письма приходят по старому адресу, в колхоз «Прогресс» и там уничтожаются.

Дурак-председатель, видимо, в самом деле не прочь был сжить их со свету, и весной не дал земли посадить картошку. А без своей картошки – это точно хана. Тогда, в безлунную майскую ночь запрягли Федыка с матерью свою корову в колхозную телегу, посадили на неё младших детей и уехали в Кочки, в колхоз «Красное знамя», в котором работала Мария. Краснознаменский председатель Григорий Трофимович обрадовался и новым рабочим рукам, и неожиданно приплывшей ценной телеге. Прискакавшему на розыски пьянице-председателю их не выдал:

– Нет у меня никакой телеги, не видел никаких Гофманов. Да ты, брат, пьян. Тебе поблазнилось, что они от тебя убежали. Поезжай-ка восвояси, они небось уже дома сидят и чай пьют... с картофельными очистками.

Почему горе-председатель не проявил настойчивости, не сообщил в милицию, сказать не берёмся. Предположим, что он как раз ушёл в запой, а когда вышел, а выходил он достаточно долго, то справедливо рассудил, что начальство может спросить за такую неспешность в розыске беглецов, положился на волю Всевышнего и изворотливость Григория Трофимовича и оказался прав. Григорий Трофимович с комендатурой всё уладил, Гофманы вместе с телегой остались в его колхозе, посадили картошку и стали рыть себе землянку, а председатель из «Прогресса» – продолжил руководить своим хозяйством.

Часа три сражались Федыка и Мария с соломой. Запарились. Федыка хотел даже скинуть фуфайку, из которой клочками высывалась в отверстия желтоватая вата, но Мария отговорила. По сараю сквозь открытые с обоих концов ворота пролетал такой резкий холод, что воспаление лёгких было бы ему обеспечено. Вдруг, в ревушем агрегате что-то заскрежетало, и наступила внезапная тишина, будто все провалились в другой мир. И сказочно необычно в этом мире зазвучали человечьи голоса без машинного аккомпанемента. Комбайнёр бросился осматривать свою молотилку, а Платон Алексеевич дал команду затаривать намолоченную пшеницу в мешки.

А тут и Генка с Петькой Денисовым едут и новые снопы везут. Генка наверху воза сидит, улыбается довольно – взрослое дело делает.

– Э, ребятки! – говорит дед Платон. – Не пойдёт. Сырые снопы, просушить бы надо. Везите на сушилку. А ты, Маруся (Платон Алексеевич звал Марию Марусей) иди-ка растопи сушилку, сделай всё как надо.

А сушилка далеко – на самой окраине села. Отряхнула Мария солому и полову с одежды, выдрала из платка цепкий репейник и пошла, а на выходе сельсоветская секретарша с портфелем:

– Ты Мария Гейне? Знаю, что ты, для порядка спрашиваю. На вот, распишись. Повестка тебе.

Кольнуло Марию в самое сердце. Развернула бумажку: «5 ноября 1942 года в 9 часов явиться в Кочковский райвоенкомат по адресу... в исправной зимней одежде с запасом белья, постельными принадлежностями, кружкой, ложкой и 10-дневным запасом продовольствия».

Давно говорили, давно ждала. Но всё равно неожиданно. Словно по голове колотушкой. Прислонилась к воротам. Подошёл Платон Алексеевич:

– Что ты, дочка?

– Призывают... В трудармию.

– Гм. Да... Ну что ж поделаешь... Страна на военном положении. А это значит – все мы солдаты. Куда поставят, там и стой. Эх... – Платон Алексеевич махнул рукой и отвернулся. – Ты, дочка, не обижайся на меня...

– Что вы! Мне на вас не за что обижаться.

Искренне сказала Мария. На Платона Алексеевича не за что обижаться. Человечный он. Сколько раз приходила прошлой зимой его бабушка Мавра Егоровна. То несколько картошин принесёт, то пару оладышков. А ведь четверо внуков оставил старикам на попечение сын Иван, уходя на войну. Ни один кусок не был у них лишним.

Вспомнила Мария добро дедушки Платона. Не знает, как получилось, обняла Платона Алексеевича и поцеловала благодарно в щёку.

– Ты того, – растрогался он, – домой сходи, пообедай, в себя прийти. Подождёт сушилка...

Домой-то ей так и так было положено – обеденный перерыв в войну никто не отменял. Так хотелось, чтобы отец с матерью были дома. А они и в самом деле дома. А ещё в землянке соседка Катарине-вейс Бахман. Глаза красные заплаканные.

У бабушкиной постели мать кормит бабушку супчиком – мучной затирухой:

– Мария, ты повестку получила? – смотрит тревожно с надеждой на чудо: вдруг эта беда её минула.

– Только что.

– И наша Милька тоже. Вот сейчас только, – говорит Катрине-вейс. – Совсем одни мы останемся с Соломон Кондратьевич, – и старушка заплакала. Высморкалась в платочек, вынутый из-за обшлага рукава.

– Садись, Мария, поешь gebrende Mehlsopp², – говорит мать.

И вот они уже вдвоём с Катрине-вейс плачут. Беда-то общая, одна на всех.

С Катрине-вейс и Соломоном Кондратьевичем они не только здесь соседи. Они и на Волге жили на одной улице – через дом. Милька не дочь их, а внучка. У них есть и внук Йешка. Он сейчас в трудармии. Призвали его в январе этого года в числе самых первых.

Родители Йешки и Эмилии умерли: отец во время голода в тридцать третьем, а мать ещё раньше при родах.

Через трагедий в их семье началась в двадцать шестом году.

У Катрине-вейс и Соломона Кондратьевича был единственный сын Фридрих. И работающий был и умён, и всё у него было для хорошей жизни. Но поразил его Бог страстью нелепой и позорной: он был вор. Крал всё, что попадалось на глаза и никак не мог от этого удержаться. Он воровал настолько ловко и так искусно прятал украденное, что бока и прочие части его молодого тела оставались целы, а шевелюра подвергалась прореживанию гораздо реже, чем он

² суп из подрумяненной на сковороде муки (диалект нем. Поволжья)

того заслуживал. Страсть эта вскоре передалась и его жене, скрепляя их союз сильнее всякой любви.

В то время – ещё до колхозов – нанимались крестьяне к государству во фрахт. Перевозили разные грузы: товары в магазины, зерно на мельницу и т.п. Фридрих это дело очень любил и всегда возвращался в родной дом с добычей – словно в предвоенный год, косясь по сторонам, их кот Мурре с соседским цыплёнком в зубах. В короткое время добыл он мужикам из Паульского славу отъявленных воров и стали все смотреть на них с подозрением: как бы после них чего-нибудь не пропало. Однажды возвращались павловские домой из долгой поездки в Саратов. На постоялом дворе (тогда они назывались уже «домами крестьянина») ночевали с орловскими³ мужиками. Наутро собрались в путь, запрягли лошадей, погрузили товар, как вдруг один орловский мужик богатырского роста говорит:

– Держите их, братцы! Не пускайте! Шапка пропала! Дорогая шапка – меховая.

Окружили орловские павловских: отдавайте шапку по-хорошему – бить будем. Павловские клянутся, что не видели никакой шапки, но орловских было больше: до исподнего заставили раздеться, обыскали – нет шапки; поклажу с саней сбросили, всю перетряхнули.

– Похоже, правда не брали, может ты как-нибудь того, обронил? – засомневались орловские, мы ведь вчера крепко погуляли.

– Да вы что, мужики! – горячится богатырь, – точно помню, в шапке я вчера вернулся! Они! Больше никому!

Обыскали ещё раз. Снова ничего не нашли, вывели на улицу к подводам: «Давай ещё раз перетрясём! Сами скинете своё барахло или помочь?»

К счастью милиционер прогуливался у «Дома крестьянина», павловские кинулись к нему:

– Товарищ милиционер! Это что же такое?! Не пускают нас ехать!

– Так! В чём дело, товарищи?

– Шапку они у нас украли, – сказали орловские, но тише и неуверенно.

– Они нас уже три раза обыскали, нет у нас шапки, а нам ехать надо! – пожаловались павловские!

– Так! Это что такое! – милиционер строго оглядел орловских. – Вы что себе позволяете!? Какое право вы имеете обыскивать граждан!? Вы свободны, товарищи, – обратился он к павловским, – можете ехать! А до вас я ещё доберусь!

Мужики мчались домой, не замечая ни ярко всходящего зимнего солнышка, ни синего неба, ни крепкого мороза. А впереди всех на долгогривой малорослой лошадке по кличке Брауни скакал, поминутно оглядываясь, Фридрих. Только к обеду, когда показалось вдали родное село, успокоились.

– Признайся, Фридрих, ты спёр шапку? – спросили мужики, когда сдали товар в сельпо.

– Что вы! Конечно нет! – и вид у Фридриха был такой невинный, что мужики только плечами пожали.

А уже дома, в пригоне, Фридрих откинул длинную густую лошажью гриву и вытащил из-под неё привязанную к шее меховую шапку.

И Катрине-вейс, и Соломон Кондратьевич не одобряли сыновье воровство, но и не препятствовали. Даже помогали ему прятать украденное, приговаривая: «Ох, попадётся! Кончай, пока не поздно! И нам горе принесёшь! Чтобы это было в последний раз!» А что они могли ещё сказать? Не доносить же на родного сына!

Но вдруг заметил Фридрих, что отец стал с возрастом хвастлив и болтлив. Как-то услышал, как он приглашал соседа: «Приходи ко мне. Чаю с сахаром попьём». – «Что ты, сахар

³ из села Орловское, названного так в честь Григория Орлова.

нынче дорог». – «Будто я за него плачу!» – ответил с надменной хвастливостью Соломон Кондратьевич.

– Не обязательно отцу знать, что я привожу, – сказал после этого Фридрих жене, и решили они не посвящать больше родителей в свои дела.

И вот по первопутку везли фрахтовщики на трёх санях товар в сельпо. Фридрих ехал последним, и путь их лежал по улице мимо его дома. Едва сани поравнялись с ним, как он с быстротой молнии выставил из саней на снег ящик, в которой прятались десять банок с повидлом. В тот же миг открылась калитка, из которой высунулись длинные руки, и ящик мгновенно исчез за ней. Никто ничего не успел заметить. Приёмщику также удалось заплести мозги, ящиков он насчитал ровно столько, сколько значилось в бумагах.

Но уже через час явились к Бахманам три милиционера и сказали, что должны провести обыск, потому что исчез ящик с повидлом.

На Соломона Кондратьевича нашло странное возбуждение:

– Пожалуйста, пожалуйста, товарищи милиционеры. Ищите, мы всё понимаем – это ваша работа. Как говорится, служба есть служба. Вот на кухне посмотрите. За печку загляните. В спальне будете смотреть? Посмотрите, посмотрите... Ах, нет ничего!?! Какая жалость! Пройдёмте тогда в чулан. Осторожно только, не испачкайтесь! Здесь очень пыльно, а шинельки-то на вас новые. Вы уж извините нас: не знали, что дорогие гости придут, не прибрались. Позвольте, я вам здесь вот с шапки паутинку сниму. Вот в погребок теперь пожалуйте. Там много чего можно спрятать. Осторожно только, скользко тут! Не убейтесь! Натоптали вы маленько, снежку нанесли, насвинячили! Ничего, ничего, не беспокойтесь, мы подотрём за вами. Люк-то подними, Фридрих! Осторожно! Спускайтесь по лесенке, не оступитесь! Ищите как следует... Да вам может посветить? Ну-ка, Фридрих, засвети товарищам милиционерам летучую мышь. Как? Видно сейчас?

Около получаса шуrowали под полом два милиционера, в то время как старший расспрашивал Фридриха: где ехали, когда ехали; не было ли чего подозрительно. Наконец, две милицейские головы показались над люком:

– Нету ничего! Жарко! Тесно, и в шинелях не повернуться.

– Ну нету, так нету. Пойдём, – сказал старший.

– Как, уже уходите? Так скоро! – не унимался Соломон Кондратьевич! – Такие приятные люди! Скоро ли опять увидимся. Может на дворе поищите. У нас ведь и зимний погреб есть. И там поищите.

Физиономии Фридриха и его жены вытянулись и позеленели. И это не осталось незамеченным.

– А, понимаю, понимаю. Времени нету! Ну тогда ладно, некогда так некогда. Приходите ещё, гости дорогие! В следующий раз осчастливьте. Будем очень, очень рады!

– Да нет, – сказал старший, – зачем же в следующий раз! Мы сейчас посмотрим. Где там у вас зимний погреб? Пройдёмте, гражданин, – обратился он к Фридриху.

Фридрих сгорбился, еле попал в рукава полушубка, и разъезжаясь валенками с галошами по мокрому полу, как новорожденный телёнок, вышел впереди милиционеров из дома. За ним, обжигая тестя ненавидящим взглядом, выбежала и Фридрихова жена.

– А? Что? – пролепетал Соломон Кондратьевич, и тон его мгновенно поменялся с веселоздевательского на самый жалобный, какой себе только можно вообразить.

Едва закрылась дверь, как Катарине-вейс кинулась к мужу, и стала бессильно бить маленькими кулачками в его грудь:

– Что ты надела-а-ал, старый дурак!

Вернулся Фридрих с милиционерами, поцеловал детей, жену, мать, на отца даже не взглянул и ушёл из дома на шесть лет.

Много чего случилось за эти годы – и только плохого. Весной умерла в родах жена Фридриха вместе с ребёнком, еле выкарабкались из кори Йешка с Эмилией. Совсем захирело хозяйство на плечах Соломона Кондратьевича. Сдохла длинногривая лошадь-воровка Брауни, сломала ногу корова – пришлось прирезать. В тридцать втором вступили в колхоз. А в колхозе тоже есть нечего. К концу года и Фридрих вернулся. Не работник, не добытчик – лишний рот за пустой семейный стол. Уходил молодой дерзкий мужик, вернулась его бледная тень.

Отца он так и не простил, но больше винил себя. Глядел на опухших от голода детей и родителей, и не ел – не мог отобрать у них кусок. Дожили до весны. Под пасху ушёл Фридрих в степь за сусликами. День был солнечный, тёплый. Но удачи ему не было. Прилёг отдохнуть. Солнышко в последний раз пригрело его, он и заснул, разомлев. А проснуться – сил не хватило...

Всю ночь ждали его в доме Бахманов: выла мать, чуя неотвратимую беду, тряслись плечи у непрощённого отца. Утром поехал он с соседом (отцом Марии) на поиски, и в телеге привёз домой мёртвого сына.

Как ему ни хотелось, не мог Соломон Кондратьевич после этого умереть. Двоих внуков надо было им с женой поднимать. Боялись, что жизни не хватит. Но нет, успели. Выросли и Йешка, и Эмилия. Ну, слава Богу, есть кому похоронить! И вот – на тебе – война! Потом незнакомая, страшной казавшаяся, Сибирь. Ни кола, ни двора. Даже коровы им не дали, как Марииной семье, потому что дома не сдали. Потом забрали в трудармию внука, а сегодня и за внучкой пришли... Плакала Катрине-вейс, плакала Мария, плакала её мать, тяжело вздыхал отец. И никому не хотелось есть. Но плачь не плачь, а на работу надо – хлеб сушить.

Тюрьма

Сушилка находилась на самом краю села и представляла собой соломенную крышу на столбах, закрывавшую от дождя и снега кирпичный пол над топкой. Федька Гофман с Петькой Денисовым уже разложили по кирпичам один воз необмолоченной пшеницы, наверное, поехали за новым. Её задача – растопить топку и поворачивать вилами массу, чтобы не перегревалась, а равномерно высыхала.

Загорелся хворост в топке, пополз дым из дымохода. Кирпичи нагрелись. Взялась за вилы, перевернула слой пшеницы.

Через час на вороном Алиме прискакал бригадир Семён Васильевич.

– Сушишь? – потряс ворошок. – Пожалуй ничего! Годится! Можно молотить. Сейчас Федька с Петькой приедут, увезут.

К вечеру Мария высушила ещё два воза. Уже темнело, когда она подмела пол сушилки. Попробовала кирпичи – тёплые, но рука терпит. Если случайно что-то попадёт – не загорится. А вот и бригадир скачет:

– Семён Васильевич, – обрадовалась Мария, – посмотрите, я всё убрала, можно домой идти?

– Всё потухло? – спросил Семён Васильевич, щупая кирпичи – сколько сегодня высушила?

– Три телеги.

– Хорошо, иди.

Ветер, как показалось Марии, ещё усилился, рвал с деревьев последние листья. Темнота сгущалась, но ещё были видны бешено мчащиеся по небу тучи. Она шла по улице с бедненькими, но настоящими домами. В них уже зажгли свет. Как хорошо, у кого есть свой дом со светом. А ей в тёмную землянку с лучиной, с огромными тенями, прыгающим по неровным земляным стенам.

Вдруг над головой трах-тах-тах, – будто лопнуло что-то. Посыпался огонь прямо перед ней. Это провода схлестнулись, успокоилась она и перешла на другую сторону улицы подальше от столбов.

Мать с отцом уже дома. Мать плачет. Отец крепится, но и ему тошно. Всего десять дней осталось. Мать уже подоила корову, испекла оладий. Сегодня праздничный ужин. Праздничный, но невесёлый. Пододвинули стол к бабушкиной кровати, вернее лежанке:

– Мама, посидите с нами, – говорит отец.

– А что за праздник? – спрашивает бабушка.

– У Марии день рождения.

– Да? А какой сегодня день?

Отец смотрит на календарь, привезённый из дому, и укреплённый на дощечке в красном углу землянки:

– Воскресенье.

«Боже мой. Неужели сегодня было воскресенье?! – думает Мария.

За дверью какой-то шорох. Постучали.

– Кто там? – спрашивает Мария.

– Das bin ich⁴, – голос Катрине-вейс.

Вошла вся в слезах. В обед она не так убивалась. Сейчас еле слова из себя выдавливает.

– Дайте, ради Бога, немного молока, хоть кружку, если есть.

⁴ Это я (диалект поволжских немцев)

Никогда она ничего у других не просила. Ох, наверное, опять у них горе. И не Эмилия ему причина.

– Что случилось? – спросила Мария, но Катрине-вейс только рукой бессильно шевельнула: мол, не спрашивайте. Взяла кружку молока и ушла поспешно.

Легли рано. На улице делать нечего, а в землянке темно. Заснули крепко. Как ни возбуждены нервы, а физическая усталость своё взяла. Провалилась Мария в бесчувственную черноту. Век бы из неё не возвращаться!

Проснулись от грохота. Всегда тревожно, когда стучатся к тебе в дом ночью. А когда рядом с тобой подпрыгивает от ударов хлипкая дощатая дверь землянки!?

Вскочили ошалелые обитатели:

– Allmächtiger Gott, was ist doch los?⁵ – голос отца.

– Слышим, слышим! – закричала Мария, натягивая платье – Дверь выбьете!

В ответ грубый мужской голос:

– А и выбьем, коли надо будет! Открывайте быстрее! Милиция!

– Herr Jesus! Die Miliz!⁶ Лампу-то, лампу зажгите! Лампу куда спрятали?

Мария метнулась в угол землянки, нащупала на самодельной этажерке керосиновую лампу, поставила на стол, на печи нашарила спички.

Осветились стены их земляной комнатки. Заметались, заплясали по ним тени. Отец прыгает, пытаясь попасть ногой в штанину, мать накидывает на себя пальто. Бабушка села на лежанке, оглядывается потерянно, ничего не может понять.

– Чего возитесь? – голос за дверью. – А то правда дверь вышибем!

Мария отбросила крючок. В землянку ворвался холод, а следом зашёл милиционер в шинели и форменной фуражке, за ним второй. Сразу заняли полземлянки.

Мария едва успела отскочить, чтобы ей не наступили на ноги.

– Кто тут Мария Гейне? – спросил передний.

– Это я, – ответствовала она чужим голосом, леденея от ужаса.

– Собирайтесь, вы арестованы!

– Ах-ха-ха-ха-ха-а-а! А-а-а-а! – завопила мать. А у Марии даже сил не было спросить: «За что?».

Мария надела машинально рабочую фуфайку, повязала шаль. Жалко и сиротливо вцепились в неё два репья. Не помня себя от ужаса, вышла из такой родной теперь землянки. Родители хотели броситься вслед за ней, но не посмели – уж слишком страшно звучало слово «милиция».

На северной окраине села небо было тускло красным. Мария этого не замечала, перебарывая внезапно свалившийся кошмар, пока милиционер не спросил:

– Твоя работа?

– Какая работа?

– Кончай придуриваться! Сушилку ты подожгла? – он мотнул головой в сторону зарева.

– Не поджигала я ничего, – выдавила из себя Мария и разрыдалась.

Пока шли к милиции, повалил снег. Бил в лицо, таял и перемешивался с её слезами. Она не замечала ни ветра, ни снега. Ничего в мире не было, кроме огромного удушающего ужаса.

– И-ииии-иии, – запели входные двери:

– Задержанная, прох-ходи! – сказал второй милиционер, не проронивший до этого ни слова.

⁵ Всемогущий Бог, что стряслось? (диалект поволжских немцев)

⁶ Господи Иисусе! Милиция! (диалект поволжских немцев)

– И-и-и-и-и-и – бум! – раздалось за спиной. Перед ней открылись ещё одни двери, и она оказалась в коридоре, освещённом несколькими тусклыми лампочками. За столом недалеко от входа сидел пожилой милиционер, наверное, дежурный по тюрьме:

– Принимай задержанную, Фадей Гордеич, – сказал ему второй милиционер, который оказывается был старше стучавшего в землянку.

– Призналась? – спросил, вставая, Фадей Гордеич. – Что говорит?

– Ничего не говорит, только воет.

– А что выть? – ласково улыбаясь сказал дежурный. – Не виновата – отпустим, а виновата, будешь отвечать по всей строгости военного времени. Пойдём! Поселю тебя рядом с землячком.

Долго шли по бесконечному коридору, становившемуся всё темней, наконец свернули в закуток, в котором почти совсем не было света. Но дежурный без промаха вставил ключ и открыл перед ней дверь камеры, щёлкнул снаружи выключателем и сказал, указывая на железную кровать, застеленную каким-то тряпьем:

– Располагайся.

Опять заскрежетал замок, свет погас, и в кромешной тьме она завывала так, что самой стало страшно. Под утро она то ли уснула, изнурённая, то ли потеряла сознание.

Очнулась, когда за окном уже стали видны заснеженные кусты, дальше за забором труба кирпичного завода. Совсем далеко – белые крыши домов и сараев. В эту ночь наступила наконец зима. Как она любила первый снег ещё совсем недавно. А сейчас всё – жизнь сломана... Кончилась жизнь! Её стал колотить озноб. В камере действительно было холодно. А на воле ветер утих, и небо прояснилось. Вставало солнце. Снег заискрился. Всё также, как в прошлом году, как в позапрошлом, когда она со своими однокурсниками пешком шла по такому же чистому первому снегу в педучилище.

Вздрыгнула от звука открываемого замка. Дежурный – не вчерашний, но тоже пожилой, можно даже сказать, старичок – сказал буднично, по-домашнему:

– Гейне, тебе передача – картошка-лепешка, – и милиционер улыбнулся всеми своими морщинами: мол, я не передразниваю, мне так сказали, я передаю.

Их красная чашка. А в ней несколько картофельных лепёшек. Золотистая корочка с двух сторон. И запах, наверное, вкусный, только она сейчас ничего не чувствует – ни запахов, ни вкуса. Во рту всё пересохло, язык деревянный, и в глотке ком – ничего не пропускает. А чашка ещё тёплая. «Встали, наверное, до свету, нажарили и сразу с печки мне понесли... А может ничего, может обойдётся, разберутся. Не виновата ведь я».

Только так подумала, а замок уже снова скрежетает:

– Гейне, на допрос.

Кабинет. В другом конце того же здания. Солнце в окно. За столом молодой милиционер. Гимнастёрка, красные петлицы на воротнике.

– Младший лейтенант Чалов. Веду ваше дело, – посмотрел на неё. Долго смотрел, выжидающе. – Ну рассказывайте.

– Что рассказывать?

– Как сушилку подожгли.

Её снова затрясло, полились слёзы:

– Не поджи-и-га-ла я! Я ушла... всё... уже потухло.

– Так, потухло, говоришь? А кто это может подтвердить? Что всё потухло и погасло?

– Бригадир был, Семён Васильевич. Он сам кирпичи щупал. Они уже холодные были. Спросите его..., – хорошо, что в платье носовой платок оказался. А то сидела бы сейчас, размазывая сопли и слёзы.

– И когда же он щупал?

– Перед тем, как я домой пошла. Он пощупал и отпустил меня.

Тут Чалов усмехнулся и сказал:

– Ну хорошо, а в котором часу отпустил?

– Не знаю, темнеть стало. Сумерки были. Где-то в семь.

– В семь... А загорелось в двенадцать. Выходит, ты пошла домой, потом вернулась и подожгла?

– Не поджигала-ааа! Мы поужинали и спать легли-и-ии!

– Не поджигала? А отчего же тогда загорелась? Или она сама себя подожгла? Сушилката?

– Не знаа-а-а-а-ю!

– Может подложила что-то, чтобы тлело, а потом разгорелось? Или спички как-то так разложила, чтобы огонь пополз?

– Ничего я не дела-а-ла! Я и не умею, и не знаю...

– А может бригадир поджёт?

– Не-е-ет! Я пошла, и он ускакал. На коне он был.

– Ну хорошо, устрою тебе очную ставку с бригадиром. Подожди пока.

Чалов позвонил в правление колхоза, и через десять минут Мария уже видела в окно, как Семён Васильевич мчится галопом, и сырой снег комьями вылетает из-под Алимовых копыт. Прыг с коня у коновязи, и через несколько секунд бригадир уже входит в кабинет – да, серьёзная организация милиция.

– Ну что бригадир. – сказал Чалов. – Вот гражданка Гейне утверждает, что ты последним видел сушилку перед пожаром. Говорит, в семь часов вечера ты всё осмотрел, проверил, пощупал, её отпустил, а сам остался.

– Не говорила я так. Мы вместе ушли.

– Вместе что ли подожгли?

– Да вы что, товарищ младший лейтенант. Я вчера один раз там был... В обед, – глаза Семёна Васильевича забегали, будто он не знал, куда их деть. – Приехал, посмотрел, как сушится. Сказал: сейчас ребята ещё воз привезут на сушку... И всё... Вечером я её не видел, и не отпускал. Она сама должна была знать, когда можно уйти.

– Понятно, так и запишем. Гражданку Гейне не видел, уходить от сушилки не разрешал. Правильно?

– Да, так и было.

– Семён Васильевич, – закричала она в отчаянии, – разве вы не помните, как щупали кирпичи, сказали «иди домой».

– Нет, товарищ младший лейтенант, клевета, не видел я её.

– А может, всё же видели, товарищ бригадир? А? Может вы подожгли?

– Да что вы, товарищ младший лейтенант! Мне-то зачем?

– А ей зачем?

– Ну... она того... немка..., – руки у Семёна Васильевича забегали так же суетливо, как глаза... – Может своим помогает...

– Так и запишем: «Считаю, что сушилку подожгла гражданка Гейне из вредительских побуждений». Верно?

– Выходит, так.

– Выходит «так» или просто «так».

– Ну так, наверно...

– Ладно иди.

После того, как ушёл Семён Васильевич, и рухнула её последняя надежда, Мария заголосила уже, не сдерживаясь.

– На вот, подпиши протокол, – сказал Чалов.

Но Мария ещё сегодня ночью решила ничего не подписывать, тем более, не понимая, что подписывает. А сейчас она вообще не способна была что-то понимать.

– Ну хорошо, – сказал Чалов, – так и напишем: «Подписать протокол отказалась»!

– Что теперь будет? – всё-таки смогла спросить Мария сквозь свои вопли.

– Суд решит, что будет. Судить тебя будут.

Услышав слово суд, она совсем ополоумела и стала кричать уже по-немецки.

Мария не помнила, как шла в камеру, как очутилась на кровати на тряпье. Кричала и плакала весь остаток дня. А поздно вечером вдруг услышала глухой стук в стену. Этот еле слышный стук вернул её к действительности. Мария стала воспринимать звуки, обращать внимание на свет автомобильных фар за окном, и вскоре уснула так крепко, будто умерла.

Утром пришёл тот же старый милиционер. Принёс ложку овсяной каши и светло-жёлтую жидкость в алюминиевой кружке, наверное, чай.

– Ох, и кричала же ты вчера, дочка! У меня самого глаза на мокром месте были: «Чего, – думаю, – девчонку мучат?» Ты только никому не говори, что я так сказал. А то... – махнул он рукой, – можешь и сказать, мне старику всё равно, прожил я своё. Но лучше не говори... А картошку-лепешку что же не съела?

– Не могу... Хотите, съешьте.

– А что, давай, пожалуй, не пропадать же. Смотри только не пожалей.

– Не пожалею.

Чай смогла выпить, а кашу не стала.

Наступило какое-то оцепенение: ну и пусть, будь что будет...

Вскоре опять пришёл милиционер, в руках другая – синяя – их чашечка:

– Новая картошка-лепешка приехала. Ты уж того, поешь.

– Берите себе.

– Нет, нет, больше не возьму. За то спасибо. Вкусная картошка-лепешка. А эту обязательно сама съешь. Не бойся, за сушилку ничего тебе не будет – ей грош цена копейка. Да председатель ваш, вроде как за тебя просил. Точно не скажу, но слышал краем уха.

Оставшись одна, она принюхалась – от жаренной в масле картофельной лепёшки исходил аромат, чудеснее которого не было в её жизни. Она отломил кусочек, а потом с жадностью проглотила все три «картошки-лепешки».

В стенку опять постучали, как вчера вечером. Но она опять не решилась ответить. А вскоре пришёл дежурный и принёс ведро с тряпкой:

– На-ка, полы помой – время веселей пройдёт.

Она вымыла весь коридор, а когда заканчивала мыть пол в закутке для арестантов, возле двери соседней камеры, в неё вновь постучали. Из-за двери донёсся хриплый, простуженный голос:

– Мария! Это ты?

– Я. А вы кто?

– Я Йешка Бахман.

– Йешка! Но ведь ты в трудармии!

– Я убежал. Меня позавчера вечером поймали. Я страшно хочу есть. Передай своей маме, пусть мои мне что-нибудь принесут. Поняла?

– Да.

– Что ты дочка? Разговариваешь с кем? – спросил появившийся дежурный.

– Нет я так, головой о косяк стукнулась.

На следующее утро её вызвал Чалов:

– Ну вот что, Мария... Фридриховна, Маруся, Маша, Марейка – как там тебя? Приходил вчера ваш бригадир Семён этот Васильевич. Отказался от своих показаний. «Струсил», – говорит. «Не смогу, жить, если буду знать, что девчонку погубил». Председатель ваш был.

Тоже хорошо о тебе отзывался. «Давай, – говорит, – лейтенант, спишем на провода. Ветер, мол, сильный был, захлестнуло, искры полетели, попали на соломенную крышу». Далековато, конечно, до проводов, но чем чёрт не шутит, может и правда долетели. Я всё это начальству доложил. Начальство решило: «Раз повестка есть, пусть отправляется в трудармию, нехай там разбираются вредитель она или нет». Так что бери свои манатки, и брысь отседова, пока мне своими воплями все кадры не разложила.

И вот ей принесли её фуфайку и шаль, а на шали те же два репья. Репья из родного дома. Она даже срывать их не стала, надела на голову вместе с ними.

И вот открылась дверь на пружине, и также за её спиной:

– И-ииии-иии – бум! – как той несчастной ночью.

Жигули

Морозы в этом году сразу принялись за дело. Двадцать градусов днём с обжигающим ветром. Снегу сразу выбросило на полваленка, и перестал на утренней заре пастух выгонять коров из хлева⁷.

Катрине-вейс теперь у них каждый день. Нечего больше таиться. Рассказала она, как пришёл Йешка. Они сидели втроём в землянке и ужинали, когда тихо-тихо постучали снаружи. Она открыла дверь, а там Йешка: грязный, обросший, без шапки, в одном пиджачке.

– Боже мой, – говорила она, всплёскивая руками, – что он рассказал! Да и рассказывать не надо – всё по нему видно. Кожа да кости. Он говорит, в трудармии такой голод! Хлеб дают четыреста грамм, а варёного – пустой суп и не каждый день. Не выдержал он. Пока ещё лето было и можно что-то в лесу найти – грибы или ягоды – он терпел. А осенью совсем плохо стало. Решил убежать. Я говорю: «Йешка, да как же ты осмелился на такое. Ведь тюрьма это, а может и хуже!» А он говорит: «Хуже ничего не может быть. Мне и так, и так смерть. А от голода она страшней всего, потому что медленная». Десять дней ехал снаружи на вагонах. На крышах. Днём прячется, ночью едет. А ведь холод! Его так продуло. Говорит: «У меня всё болит, грудь изнутри опухла, я ни дышать, ни кашлять не могу». Ну что делать?! Такого кашля я никогда не слышала! Говорю: «Подожди, сынок, я тебе молока вскипячу, чтобы кашель стал мягче». Пошла к вам за молоком, вернулась, а там уже милиция. Он еле успел одну картошечку съесть. Я заплакала, говорю, позвольте мне его покормить, молоком кипячёным напоить – слышите, как он кашляет. Потом заберёте. Он не убежит. А они: «У нас его и накормят, и напоят!». Ох-ох, за что нам такое?! Неужели Бог нас всё ещё карает, из-за того, что Фридрих был вор? Ну он был вор, а дети его чем виноваты? Какие муки он вытерпел! Йешка-то! Не понимаю, как он живым добрался. Десять дней без еды. Ещё нашёл силы пешком от Каргата дойти – сто километров. Ведь такой ветер! Такой ветер был в последний день! А он в одном пиджачке и без пуговиц. Бедные мои внуки! – и она принималась рыдать, а, слушая её, не могли не заплакать и Мария со своей матерью.

– Зачем мучить людей! Ведь он работал, делал всё что надо. Зачем не давать людям кушать!?! – всхлипывала несчастная старушка. И в этом всхлипе чувствовалось Марии жалоба на всю несправедливость того, что так безжалостно обрушилось на её семью. Но уходя домой, она непременно говорила: «Вы уж, ради Бога, никому не рассказывайте, что я тут говорила». Конечно, не расскажут.

Ох, маята, маята! В тюрьме-то трудармия казалась спасением, а сейчас, после Йешкиного побега...

Так Мария маялась до отправки. Чувствовала себя отрезанным ломтём, и отец с матерью смотрели на неё так, словно на смерть провожали.

В последний день отпустил её Платон Алексеевич пораньше с работы. Натопили мать с отцом землянку пожарче. Она помылась, оделась в чистое, и стала ждать завтрашнего дня. Назавтра простилась с матерью, с безучастной ко всему бабушкой, и отправилась в военкомат. Отец пошёл её провожать, а мать осталась дома, потому что бабушка могла умереть с часу на час.

В десять часов подошли машины, мобилизованные расселись по кузовам, отец, до последней минуты не выпускавший её руки, вдруг показался ей таким маленьким и старым, что его стало жалче, чем себя. Вот и моторы завелись... Ну ещё минутку дайте побыть дома... Нет, тронулись. Поехали. Отец бежит следом. Зачем-то снял шапку и машет ею. Всё! Отстали. Но ещё мелькают знакомые дома. Вот и они остались позади. Выехали за село на каргатскую

⁷ Пушкин «Евгений Онегин»

дорогу. На дорогу в неизвестность. Полдороги ехали, плакали о том, что осталось там, в Кочках, где теперь их дома, вернее, их землянки. А потом стало не до слёз. Замёрзли, «задубели», как говорят в Кочках даже под тентом. Два раза останавливались в придорожных сёлах отогреться. Сто километров ехали до самого вечера. Несколько раз застревали в рыхлом снегу перемётов. Спрыгивали, выталкивали машины. Влезали назад все в снегу. К концу путешествия столько его нанесли – весь пол снегом утоптали.

Мария сидит на скамейке рядом с Эмилией Бахман. Милька красивая: высокая, стройная. Лицо румяное, ямочки на щеках, а волосы – в косы заплетены – чистое золото. Они в позапрошлом году вместе ходили в Маркшпгадт. Мария, Эрн Дорн и Сашка Муль – в педучилище, а Эмилия в техникум механизации на первый курс. Втемяшилась ей в голову блажь с машинами возиться.

Невесело Мильке сегодня. Мария ничего не спрашивает. Знает, что о Йешке Милькины мысли. Если простилаась Марии копеечная сушилка, то дезертирство во время войны не простят точно.

Приехали в Каргат при фарах, переночевали в школе прямо на полу рядом со сдвинутыми партами. А наутро – на вокзал. Над вокзалом красные знамёна. Ах, да! Завтра же праздник! Двадцать пятая годовщина Великой Октябрьской социалистической революции!

Народу набилось в помещение – яблоку негде упасть. А за окнами поезда проносятся. Сначала слышится шум, вибрирует пол, пролетает паровоз, высоко выплёвывая клубы чёрного дыма, следом несутся вагоны, и ветер наконец приносит паровозный дым от уже улетевшего паровоза и швыряет в окна. А вагоны всё мелькают один за одним: Высокие с углём, низкие платформы, заставленные чем-то, видимо, секретным, укрытым брезентом, теплушки с людьми.

Спешат, спешат поезда! На запад, на запад! К фронту. Вот ещё люди прибыли.

– Откуда?

– Из Довольного.

– А мы из Чулыма.

Хотят войти, но их встречают люди в форме: «Нет места, не толкитесь, на улице подождите. Сейчас посадка.

На самый дальний путь почти незаметно подкрался паровоз с теплушками и встал.

– Наверно, наш!

Команда:

– Выходи!

На улице кто-то хватается за руку:

– Maria! S' bist wohl du?!⁸

Тётя Эмма Кригер – мамина сестра! Хоть один родной человек будет рядом с ней! Обнялись, поцеловались.

– Тётя Эмма! А вас-то почему взяли. Вам же уже есть сорок пять.

– Нет, мне только через две недели будет.

– Знаю, но подумала, что две недели не считаются.

– Сейчас каждый день считается.

Пошли, действительно, к тому остановившемуся поезду. Встали. Переключка. Кого назвали – два шага вперёд. Один военный выкрикивает по списку. Другой рядом стоит, следит, шагают ли названные вперёд.

– Рядом становиться! Рядом становиться с предыдущей!

Ох долго! Подальше – к хвосту – такая же толпа. Тётя Эмма успела рассказать, что живут в деревне, далеко от райцентра. Осень или весна – грязь непролазная. В прошлом году ехали

⁸ Мария! Это ты?!

из Каргата на лошадях четыре дня. Телеги вязли по самые оси. Всё безотрадно: болота да камыши, и серое небо над головой.

– Ну да теперь привыкли. Овец пасла. Ну а вы как? Слышала, что в Кочки попали...

– Да. До весны на квартире жили, теперь в землянке. Бабушка совсем плохая. Ждём с минуты на минуту. Может уже умерла...

– И я отца оставила на эту... на Давидкину жену. Мужа и Давида той зимой ещё забрали, а у неё ребёнок – два года. Из-за ребёнка и не взяли. Я уехала, так на ней теперь дитё двухлетнее и наш отец восемьдесят пять лет. А она бестолковая – боюсь, обоих уморит. Ох, помню я маму, как она сидела за столом и грызла сусличью ножку... Эта картина со мной будет до смерти. В тот год она умерла от голода, теперь, видно, очередь отца.

– Мама тоже это вспоминает. Она же тогда у вас была... Видела. Тоже мучается, что ничем не могла помочь.

– На ней родители твоего отца были. Что она могла?! Так уж, наверно, Бог хотел.

Но наконец, первый военный передал бумаги, по которым читал, второму – тому, кто следил. Тот расписался, подложив планшет. Ага! Первый сдал, второй принял. Их сдали и их приняли.

– По вагонам!

Отъехали в сторону ворот. Полезли в вагоны. Напротив входа – печка-буржуйка. С обеих сторон от неё двухэтажные нары. Занимай места! Где лучше? Рядом с печкой? Зато дверь рядом, а плотно ли заделана? Нет, лучше посередине. Это не Мария решила, а тётя Эмма. Она сохранила умение рассуждать даже сейчас. Она займёт место снизу, а Мария с Эмилией над нею. Все из Паульского будут вместе. Что-то застучало снаружи, заскреблось по вагонной стене: хлоп: упала крышка, закрывавшая окно, хлоп: упала вторая. Будут ехать с комфортом. Даже зимними пейзажами можно любоваться. Если конечно, будет охота...

Вот и двери закрыли.

– И-и-и! – завизжал гудок, и понёлся по соседнему пути поезд, загрохотал сотнею колёс. Мелькают в двух окнах вагоны. Невольно тянутся вверх, чтобы посмотреть. А когда пронёсся, оказалось, что сами уже едут. Куда едут? Пока на запад.

Рассаживаются по занятым местам. Знакомятся:

– Кто из Паульского? – спрашивает тётя Эмма.

Никто не отзывается.

– Из Фишера есть кто-нибудь? – громко спрашивает женщина лет двадцати пяти – двадцати шести.

– Я из Фишер, – отвечает высокая рябая женщина, откинув с головы на плечи шаль.

– А почему я вас не знаю?

– Как твоя фамилия?

– Ирма Шульдайс.

– А, ну я твоих родителей знаю. А ты меня и знать не можешь. Когда я уехала из Фишер, ты была маленькая девочка. Меня зовут Фрида Кёниг.

– Слышала. Родители что-то о вас говорили. А мы вот с сестрой едем, с Эллочкой. Ей ещё восемнадцати нет. Мама сказала: смотри за ней как следует, чтобы не простудилась, не голодала, не надорвалась.

– Не надорваться у нас вряд ли получится, – засмеялась Фрида.

– А из Маркштадта есть?

– Есть...

– Из Филиппсфельда?...

– Из Нидермунжу?....

– А из Москвы есть? – это высокая, статная блондинка в красивом пальто, словно бичом щёлкнула среди птичьего гомона.

Все мгновенно стихли. Не понимают, серьёзно спрашивает или шутит.

– А вы из Москвы? – смотрят, как на чудо.

– Из Москвы.

– Из самой Москвы? А как вас зовут? – восхищается Эмилия.

– Ольга Цицер меня зовут.

– А меня Эмилия. Миля.

– Вот и познакомились, – говорит Фрида. – Давайте-ка печку затопим, да чай вскипятим.

Жарко горят дрова в печке. Стучат колёса. Приспособили на печку ведро с водой. Ждут, когда вскипит. А уже и есть хочется. Не пора обедать? – Раз хочется, то пора.

– Ну-ка, доставай свои кружки! – командует Фрида. – Получай кипяток!

Попили кипятка. Каждому досталось по кружке, но сразу тепло пошло по намёрзшемуся телу. Мария достала кусок хлеба с холодной, вареной в мундире картошиной.

– Сейчас бы стол, вообще ехали бы как в плацкарте...

А в три встали на неизвестно какой станции. Отъехала дверь.

– Принимай обед!

– Так и обедом будете нас кормить.

– А как же: раз в день горячее питание положено.

На вагон почти двухведерная кастрюля супа. Не ахти какой суп, но картошка есть, и крупа, и даже капельки жира на поверхности золотятся.

Если так дальше пойдёт, можно жить.

Трое суток стучали колёса. Иногда вплетался металлический звон: знали – едут по мосту. Часто стояли подолгу. Тогда приходили от начальства с охраной, выпускали по двое.

На четвёртые сутки среди ночи почувствовали – поезд сбавляет ход. Вместо тук-тук-тук, тук-тук-тук, колёса стучали: тук...тук, тук...тук. Всё тише, тише. Потом: у-у-у – загудели тормоза, и толкнуло вперёд по ходу. Встали. Кто-то бежал вдоль состава, хрустя снегом. Дверь отъехала. Пахнуло холодом.

– Выходи из вагонов!

Неужто приехали?! Нервная дрожь спросонья. Темно – хоть глаз коли.

– Господи, зажгите же кто-нибудь спичку. Шаль не могу найти.

– Тётя Эмма, да вот же она, вы её под голову клали.

– Ах, да...

Женщины-трудармейки быстро собираются: суетливо заталкивают в свои мешки и рюкзаки платки, куски хлеба про запас, и все вместе к двери. Внизу белый снег – прыг в него.

– Ой, нога-а!

Вверху чёрное небо. Ни луны, ни звёздочки. Тишина. Откуда-то с края земли:

– Ту-у-у – паровоз.

– Где мы? Батюшки! Ни людей, ни строений. В степи выгрузили!

Время встало. Живы ли? Глухота.

– Ух – порыв ветра в лицо и грудь. Ледяной. Со снегом.

– Ах, Мария унд Йезус!

Вздрыгнули – лязг железный. Их поезд тронулся. Зачем? Сейчас бы в вагоны, к железным печкам! Ещё вчера вечером было так хорошо, уютно, так угрелись.

– Постойте! А мы?

А вагоны мимо. Тёмные, с угретыми местечками. Как родные дома – в никуда. Навсегда. Какое сиротство! Эшелон ушёл, как жизнь. Снова ветер и глушь. А за путями-то не степь – фонарь горит, башня водонапорная. Ещё дальше пакгаузы. Краина какой-то станции, но далё-ё-кая краина.

Отупение. Холод.

– Чего ждём?

– Кома-а-нды, – кто-то очень жалобно.

– А где командиры?

Нет командиров. Во! Вчера ещё было полно сопровождающих! Где они?

– С поездом уехали! Нас бросили! В ночи, в степи!

Не бывало такого – страшно!

– А может нас специально – чтоб замёрзли?!

– Неужто! Невозможно.

– Всё возможно!

Мамочка, где ты? Знаешь, как мне плохо!

Четыреста человек топчется – снег стонет. Отупение. Ветер опять порывами.

Прожигает пальто.

– Мама, я замерзаю!

Сколько прошло – неизвестно.

– Женщины, да пойдёте же на станцию!

– А где станция?

– Да вон же!

– Нельзя. Не велено. Засу-у-удят!

Опять молчание. И снег меньше скрипит – утоптали.

– Как хотите, а я пойду, – это та девушка в красивом пальто, что спрашивала, нет ли кого из Москвы – Ольга Цицер.

Толпа распалась. Потянулась от неё человеческая струйка к башне, к складам. А следом всё новые и новые решаются. Потом в самых робких страха наказания пересиливается страхом остаться одним. С ними и Мария с тётёй Эммой и Эмилией двинулись.

Кажется, светает. Снег белее стал. Похоже, на дорогу вышли – следы от колёс. Три точки вдалеке. Двигутся навстречу. Надежда. Будь что будет, но не одни на свете. Ближе – двое верхом и санная упряжка.

– Эй! Вы немки? С поезда?

– С поезда.

– А чего прётесь? Сказано же – на путях обождать, – военный встал из саней – из их поезда.

– Никто ничего не говорил.

– Ишь растянулись на версту. Стой! Подравняйся!

Спешились, пошли вдоль строя. Считают. Назад идут, опять считают. Не сходится что ли? Ну, давайте же быстрей. Замёрзли до смерти! Всё! Кажется, садятся. В санях на коленках опять бумаги подписывают. Ещё раз, значит, их сдали и приняли. Пошли. Наконец-то утро. Край неба забелел. А ветер бьёт. Идти далеко. Может, только через час пришли – город не город, село не село.

Ни рук, ни ног не чувствуют трудармейки.

Все ли дошли? А кто знает – не оглядывались. Наверное, все.

– Спросить, что ли, где мы?

– Товарищ военный! Это какой город?

– Какой надо!

– Военная тайна что ли?

Привели в баню. Выдали по куску какого-то мыла – нестерпимо вонючего. Никогда не видели такого. Приказ: обязательно вымыть им голову – от вшей.

В предбанниках раздевались партиями. Народу – не протолкнуться. А в помывочной вода – еле тёплая. Не только не согреешься – наоборот, все трясутся. И коленки поморожены, у тётёи Эммы – пальцы на руках и ногах. Гусиным жиром бы смазать, да махровым полотенцем закутать.

Ага! Даст сейчас кто-то и гусяного жира, и полотенце махровое! А снаружи уже торопят: быстрее, быстрее, многим ещё надо помыться!

В предбаннике, кажется, холоднее, чем, когда заходили. Пар от мокрых тел поднимается. Зуб на зуб не попадает. Челюсти от дрожи сводит. Господи, и обсушиться нечем. Одежду – прямо на мокрое тело. И опять торопят. Не куда-нибудь – на улицу, на мороз и жгучий ветер.
– Стройся!

А как строиться? Никогда не строились. Большинство – колхозницы. Из Энгельса и Маркштадта⁹, конечно, немало, но и они на заводах, да в учреждения никогда не строились, а в Сибири тем более – всех тянет в кучу, а не в ряд.

– Не толпись, не толпись! В ряд становись! Эх, бестолковые бабы!

Двое военных кое-как построили женщин.

– Налево!

Налево – это куда? Одни в одну сторону повернулись, другие в другую...

– Линкс, Эмма-танте¹⁰.

– Вот именно! Линкс! Шагом марш!

Пошли. Хоть трудовая, но всё же армия. Только жалкая армия: солдаты её в пимах, платками повязаны по самые брови, да ещё и носы норовят спрятать; кто в чём: в старых и не очень старых пальто, в ватниках, а кто и в тулупе, правда одна в щегольском пальто. Красивая, стройная, голову высоко держит – та, что про Москву спрашивала...

Мешочки за плечами: а что там – много ведь не утащишь! Как там в приказе о мобилизации было сказано: явиться в исправной зимней одежде с запасом белья, постельными принадлежностями, кружкой, ложкой и 10-дневным запасом продовольствия.

Ведут в город. А может и не город вовсе, а большое село. Барак рубленный. Над входом: «Столовая». Один военный встаёт в строй посередине растопыривает руки, другой командует: «Передние, заходи!».

Остальные остаются, топчутся на морозе.

Народу много. Вдоль окон в два ряда столы, столы, столы. В углу слева три раздаточных стола. На среднем алюминиевый бак. Над ним пар. Три женщины разливают в алюминиевые миски. Трудармейки подходят, не раздеваясь, затылок в затылок. Раздатчицы наливают почти полную миску. Дальше отдельный стол. С него дают кусочек хлеба – чёрного, как смоль. Суп горячий – радость для намёрзшегося организма, но почти пустой: несколько картошинок на дне, да немногочисленные листочки капусты гоняются друг за другом.

– *Lauder Wasser, lauder Wasser!*¹¹ – говорит высокая пожилая женщина.

Едят долго, приятное тепло растекается по телу, добирается до самых ступней. У кого-то даже испарина на лбу. Хлеб, такой чёрный, но вкусный: сладкий, сладкий. Мало только. Не удержались – достают из мешков сухари от десятидневного-то запаса – что в поезде не съели. Но пора и честь знать – снаружи подруги по несчастью мёрзнут.

Сдают миски на крайний стол. Тянутся к выходу, навстречу свои – замёрзшие – уже идут вдоль раздаточных столов:

– Лаудер вассер! Лаудер вассер! – встречает их одна их раздатчиц – она уже выучила новое выражение и ей весело повторять необычные слова.

Согрелись, но голод остался – только слегка утишили его.

Тучи между тем разошлись, выглянуло низкое зимнее солнце.

Дождались своих. Опять команда строиться – в две шеренги.

– Направо!

⁹ Маркштадт – так до 1942 года назывался город Маркс.

¹⁰ Тётя (нем.).

¹¹ Одна вода (нем.)

Повернули направо.

– Шагом марш!

Пошли – уже из города... Или из села – кто знает!

– А куда идем?

– Куда надо, туда и идём!

– Далеко хоть идти?

– Недалече, девяносто километров. Дня за три – четыре дойдем.

– А вы с нами?

– Так точно! Доведём и сдадим, как положено – в полном составе.

– Да ладно, старшина, тайны-то нету. В село Отважное идем. Нефтепровод будете строить.

– Отважное, это где?

– Жигули? Слышали?

Жигули!!! Господи! Это же почти рядом! Там Куйбышев, потом Саратов, через Волгу – Энгельс, а между Куйбышевым и Саратовом Маркштадт – почти назад привезли!

Ольга Ивановна

В посёлок Отважный пришли только на четвёртый день к обеду. Посёлок строился. Проходили мимо каких-то котлованов, каркасов, ждущих обшивки и засыпанных опилками и стружками; рубленых и кирпичных строений.

Пустыри, бараки, за ними двухэтажные дома – наверное центр посёлка. Потом деревенские дома села Отважное. А дальше на севере надо всем этим возвышались заснеженные горы – с лесом и без него. Они казались громадными, а домики у подножья сказочно крохотными – для гномиков, а не для людей. В просветах между горами блестел лёд Волги.

Привели их, наконец к рубленным баракам, по виду довольно новым, но построенный наспех, для временного проживания.

Барак было четыре. Трудармейцы построились на площадке или пустыре между ними. Явилась откуда-то женщина в тулупе, тёплой шали и вязанных варежках. Сопровождавшие военные опять выкрикали их по списку, и они делали два шага вперёд. Женщина крыжила их в своих бумагах карандашом. Открыжив сотню, скомандовала:

– В первый барак.

Открыжив вторую:

– Во второй барак.

Марии и те, кто был ей знаком ещё по поезду, попали в последний четвёртый барак.

Вход в барак был точно посередине. Из тамбура двери вели налево и направо в две длинные комнаты. У входа стояла печь с железной трубой. Вдоль стен двухэтажные нары. Разобрали места. Марии досталось верхнее место. Снизу устроилась тётя Эмма. Слева от неё на верхних нарах Эмилия, а справа – сверху и снизу сёстры Шульдайс.

Вскоре за ними пришла женщина и повела обедать. Столовая – такой же длинный барак, только вдоль стен не нары, а столы и скамейки.

На обед дали суп, с несколькими крохотными кусочками какой-то рыбы. На второе – кашу из крупы, происхождение которой было сложно определить.

Вернулись в свой барак. Тётя Эмма расположилась поспать. Эмилия, порывшись в вещевом мешке, достала гребень, распустила косу и принялась расчёсывать густые золотого цвета волосы.

Вдруг хлопнула дверь и в комнату вошла женщина, которая принимала их на площади. Увидев Эмилию, замерла удивлённо и сказала:

– Рапунцель! Живая Рапунцель!¹²

Но, спохватившись, сказала уже громко и властно:

– Слушай сюда, девчата! Я начальник вашей колонны Ольга Ивановна Зоммер. Вы прибыли в распоряжение строительно-монтажного управления № 3, трест «Востокнефтьстрой». Вы будете копать траншею для нефтепровода. Дисциплина военная. Подъём в шесть часов. В семь пятнадцать завтрак в столовой, где вы только что были. В семь тридцать идёте получать кирку, лом и лопату. В восемь часов – начало рабочего дня. Обед – полчаса: в тринадцать до тринадцать тридцать. Конец рабочего дня в девятнадцать. С девятнадцать до девятнадцать тридцать – ужин. Там же в столовой будете получать хлеб на завтра. Кто выполняет норма, получает шестьсот грамм, кто не выполняет четырёста.

– А норма какая? – спросил кто-то.

– Норма четыре кубометра. Невыполнение приказа, невыход на работу: сначала карцер. Я вам, девчата, не советую туда попадать. Так что слушаться обязательно. Если карцер не будет помогать: суд и тюрьма. Поняли меня?

¹² Девушка с длинной золотой косой – персонаж сказки братьев Гримм

- Поняли.
 - Ещё есть для меня вопросы?
 - Есть, – сказала Ольга Цицер. – Вы работали в Маркштадском кантоне?
 - Я много где работала.
 - Вы не были в тридцать втором и тридцать третьем годах уполномоченной по коллективизации?
 - Я тебе не обязана рассказывать, где я работала.
 - А всё-таки...
 - А всё-таки, ты будешь первая, кто узнает, что такое карцер. Как твоя фамилия?
 - Цицер Ольга Георгиевна.
 - Сейчас за тобой придут.
 - У меня ещё просьба есть. Не называйте нас девчатами! Какие мы вам девчата?! Здесь есть женщины намного старше вас. Учтите.
- Ольга Ивановна повернулась и выбежала вон, хлопнув дверью. За Ольгой, действительно, вскоре пришли. Вернулась она через трое суток.

Валенки

Конец сентября. Медленно течёт за огородами навстречу великой Волге речка Караман. Где-то там, за Волгой, скатывается в тучи красное солнце. По-осеннему холодный воздух толкается в открытую дверь летней кухни. Мерно и убаюкивающе гудит ручной сепаратор. Это мать перегоняет надоевшее молоко. У двери сидит серый полосатый кот Мурре, довольно облизывая усы. Потом начинает умываться. Отбился, бродяга, от дома, но вечером исправно приходит получить вечернее молоко.

Мария с отцом только что приехали с бахчи. В руках у неё корзинка с паслёном. Собирать паслён её любимое занятие. В этом году его видимо-невидимо.

Отец переносит с телеги в амбар жёлтые тыквы. В амбаре заработанное отцом и матерью на трудодни зерно. В зерне уже закопаны дыни и арбузы. Тыквы отец закапывает туда же – это лучший способ сохранить бахчевые деликатесы до зимы. Последнюю – самую большую тыкву – отец вкатывает в летнюю кухню.

– Смотри, какая! – говорит он матери. – Не поднимешь – больше тележного колеса! – отец любит преувеличивать.

Тыква перекатывается через порог и сотрясает пол. Звенит посуда в шкафу. Мурре порскает под стол, испуганно оглядываясь, и бросая оттуда из глаз своих тревожные жёлто-зелёные огни, потом, набравшись смелости и прижав уши, осторожно на полусогнутых лапках выбирается из кухни, в ужасе косясь на тыкву. Прокравшись мимо неё, пускается стрелой и одним махом перепрыгивает через соседский забор. Смотри, разбойник, Соломон Кондратьевич уже обещал прибить тебя за украденных цыплят! С весны троих за тобой числит!

Мать заканчивает сепарировать. Отец опять уходит в амбар. Сепаратор продолжает по инерции петь свою грустную вечернюю песню, всё тише, тише, наконец смолкает.

Паслён постоит до завтра – ничего ему не сделается. Завтра рассыпят его на противнях, поставят на плиту в летней кухне и будут сушить. Зимой паслён распарят в воде, загустят крахмалом, добавят сахара, и мать испечёт пироги (шварцбернкухе¹³). Вытопит печь, посадит их на деревянной лопате на под, закроет заслонкой. Запах тогда! Какое счастье, когда в доме пахнет пирогами. А какое Рождество без шварцбернкухе, криммелькухе¹⁴ и кирбискухе¹⁵!

Мария берёт ведро с обратом, мать кастрюльку со сливками, идут в дом. Сумерки. В доме прохладно. Старая бабушка уже спит в своей комнатке.

Включают свет на кухне. Отец приносит большущий арбуз. Он светится от удовольствия, что сможет потешить любимую дочь.

– Таких у нас ещё не было, послушай, как звенит, – он щёлкает по полосатому боку, – дай-ка нож!

Нож едва пробивает корку, и раздаётся треск. Трещина бежит впереди лезвия.

– Хорош! – говорит отец, любуясь на качающиеся на столе половинки, с блестящими на срезе крупинками сахара. – Попробуй, – говорит он и отрезает огромный ломоть.

– Ой, как вку-усно! – Мария стонет от удовольствия и от саднящего зубы холода, а отец просто счастлив.

Арбуз необыкновенно сладкий. Хотя у отца они все самые вкусные и прежде не бывалые, на этот раз он прав – Мария такого ещё не ела. А вот с хлебушком! Семечки в ладонь, потом на тарелку. Отец вырезает самый лучший кусочек – сахаристую сердцевину – и подаёт дочери. Мария переполнена сладким холодом, от которого начинается приятный озноб. Она прыгает в

¹³ паслёновый пирог (нем.)

¹⁴ пирог со сладкой присыпкой из муки (нем.)

¹⁵ тыквенный пирог (нем.)

постель. Сейчас свернётся калачиком, подберёт коленки к подбородку, угреется... Как здорово засыпать, угревшись. А послезавтра пойдёт в Маркштадт, в педучилище с однокурсниками – Сашкой Мулем и Эрной Дорн. Соседка её – Милька Бахман – тоже ходит с ними, но в техникум механизации.

И вот уже перенеслась Мария в предвыпускной май и видит залитый утренним солнцем класс, и Genosse¹⁶ Нагель, щурясь в потоке весёлого света, рассказывает им о методике преподавания пения в начальных классах. Для примера приводит песню, со словами о Ворошилове:

Genosse Woroschilow
Führt vom Sieg zum Sieg...¹⁷

– Genosse Муль, повторите, – говорит он Сашке, который для Марии никакой не геноссе, а просто сосед по парте и друг детства.

Высокий, худой Сашка встаёт и повторяет: «Геноссе Ворошилов...», упирая на звук «и».

– Nein, nein, Genosse Muhl! Nicht Woroschilow! Sie wissen doch die Regel¹⁸: «-жи, -ши пишется через «и». Слышится «ы», а пишется «и». Noch einmal!¹⁹

– Геноссе Вороши-и-илов...

– Verstehen Sie doch, Genosse Muhl!²⁰, – Нагель подходит к Сашке, – Пишется Вороши-и-илов, а произносится Ворош-ы-лов. Voll den Mund!²¹ Сашка будто не понимает и настаивает на своём варианте. Геноссе Нагель краснеет. На лице выступает пот.

Наконец, с пятого или шестого раза геноссе Нагель добивается нужного произношения.

– Ах, геноссе Муль, геноссе Муль... – говорит он, вытирая платком полное лицо.

– Ах, геноссе Нагель, геноссе Нагель, – отвечает Сашка, обнимая учителя за плечи. – Der Kaul hat vier Stolper, aber bet´ doch²².

Сейчас можно и пофамильярничать – через месяц выпуск. А за ним целая жизнь – яркая, как этот майский солнечный свет...

Но почему же никак не согреться?! И это солнце её, Марию, сегодня не греет. Что-то случилось страшное – от солнца не тепло, а жуткий холод. Он властвует, становится всё сильнее, достаёт повсюду, вот уже он пробирается к ногам... И ещё что-то тревожит Марию: какой-то отвратительный запах. У них в доме никогда такого не было! Она просыпается и вываливается из счастливого сна в ужасное настоящее.

Уже две недели она в селе Отважном, вернее, в посёлке нефтяников того же названия. Трудармейцы копают траншею под нефтепровод. Живут в бревенчатом бараке.

Ночь. Сквозь маленькие окна светит луна. Саму луну не видно, она разбилась во льду замёрзших стёкол на множество разноцветных огоньков и освещает два ряда толстых столбов. Каждый столб – это четыре лежанки, сбитые из досок: две снизу и две сверху на раскосах. Марии приходит в голову, что также в плацкартном вагоне расположены места в смежных купе – два нижних и два верхних. Только в вагоне между ними стенка, а здесь ничего нет, и вши с одной головы свободно путешествуют на соседнюю.

¹⁶ Товарищ (нем).

¹⁷ Товарищ Ворошилов ведёт от победы к победе (нем)

¹⁸ Нет, нет, товарищ Муль, не Ворошилов! Вы же знаете правило... (нем.)

¹⁹ Ещё раз! (нем.)

²⁰ Поймите же, товарищ Муль... (нем.)

²¹ Полным ртом! (нем.)

²² Der Kaul hat vier Bej, aber stolpert doch. – Конь и о четырёх ногах спотыкается (диалект немцев Поволжья). Игра слов: Муль поменял существительное на глагол и глагол на существительное, получилась: «У коня четыре спотыкалки, а он всё равно молится».

В бараке спит человек сто женщин, может чуть больше – три бригады. Кто храпит, кто стонет, кто бормочет во сне. В конце барака большая печь с железной трубой, которая тянется под потолком к середине барака, и переломившись коленом, выходит через потолок наружу.

На каменные стенки печи, как солдаты на приступ, карабкается 100 с лишним пар валенок. Они сушатся с вечера, и, наверное, один из них коснулся плиты или дверки – от этого и разбудивший Марию запах горелой шерсти. Дрова в печи догорели, и в бараке холодно. Никому не хочется скинуть злосчастный валенок, ведь тогда надо вылезать из-под шуб, пальто и разных тряпок. И каждая надеется, что валенок не её, и жадно старается сохранить тепло под жалкими укрывками, чтобы завтра хватило его, не выдуло без остатка лютым ветром, не выжало морозом. А Мария потеряла уйму этого драгоценного тепла. Во сне её пальто сползло, и ноги вылезли из-под шали. Она поправляет всё это, натягивает пальто поверх головы, оставляя для дыхания узкую щель у самого носа.

«Мамочка, как мне плохо, как всё болит и какие кровавые мозоли у меня на руках. Я ещё ни разу не выполнила норму и получаю только 400 граммов хлеба. И ем я из первого котла. Ты даже не знаешь, что это значит, есть из первого котла. Если бы ты знала, как мало еды дают мне из этого котла! Как хочется есть! Ей становится отчаянно жаль себя. Она плачет – тихо, чтобы никого не разбудить. Она понимает, что это плохо, надо спать, что сон такая же ценность, как хлеб и тепло, но ничего не может с собой поделаться. Лицо и руки становятся мокрыми, от слёз замерзают щёки и нос, втягивающий наружный воздух. «Мамочка, если бы ты знала, как прав был Йешка. Он ничуточки, ничуточки не соврал. Здесь все хотят есть, а я больше всех».

Потихоньку она опять согревается, успокаивается, и приходит тупой тяжёлый сон на этот раз без сновидений.

Она просыпается от резких металлических ударов. Уже горит свет, и бригадир Фрида Кёниг кричит:

– Подъём, подъём! Вставайте!

Мария встаёт, сразу надевает пальто, чтобы не выпустить из него ночное тепло. С ужасом смотрит на свои руки. Как такими руками долбить киркой смёрзшуюся в камень землю!

Снизу на нарах тётя Эмма. Она замечает, как Мария разглядывает свои руки.

– Allmächtiger Gott! Geb mol dej Hände²³, – Lieber Gott²⁴! Ты же без рук останешься! – говорит она, доставая из своих многочисленных карманов платочки разных размеров. – Setz dich doch²⁵! – приказывает она, видя, как Мария переступает с ноги на ногу на ледяном полу. Она перевязывает Марии руки, да так ловко – повязки не съезжают, и надёжно прикрывают растёртые места.

²³ Всемогущий Боже! Дай-ка свои руки (нем.)

²⁴ Милый Боженька (нем.)

²⁵ Садись же! (диалект немцев Поволжья)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.